



П. М. БИЦИЛЛИ

Эволюция нации и революция

Хотя быстрое противопоставление «революции» «эволюции», при котором под «эволюцией» подразумевается «постепенное» или «нормальное» развитие (причем не дается определения, что же, собственно, такое «нормальное» развитие), а под «революцией» его «перерыв», бессодержательно и бесплодно. Кто не идет дальше такого, в сущности чисто вербального, определения «эволюции», тот и «революцию» сводит к ее внешним признакам, не видя того, что за ними кроется. «Революцию» он определит в лучшем случае формально-юридически, как «перерыв легальности» или что-либо подобное. Но история есть *психический* процесс, эволюция есть смена переживаемых общественным сознанием *идей*, смена *миросозерцаний*, и кто стремится к постижению исторической реальности, неминуемо приходит к вопросу: что такое революция как момент такого психического процесса? Как именно смена идей обуславливает ее собою и как она, в свою очередь, влияет на идейное движение? Эволюция всякой культуры протекает три основных стадии: религиозную (или «поэтическую», как удачнее Ог. Конта выражался Вико), метафизическую и позитивистическую. Каждой стадии соответствует своя концепция и своя структура государства и общества. На первой стадии — полная конкретность (сращенность) мировосприятия. Все во всем, все имманентно всему, все символизуется всем. Бог, «его» земля, «его» народ соединены неразрывной связью, более того: они — *одно* и носят *одно имя*. Афина, Афины, афиняне. «Поэтическое» мышление не только абсолютно конкретно и сплошь символично: оно вместе с тем и тем самым и абсолютно *вещно*. Изначальное единство народа, нации *воплощено в одном лице*. «Поэтическое» государство это — *царство*, вернее — сам *царь* (который вместе и *бог*). Разум и воля царя-бога (его «слово») есть разум и воля наро-

да — ибо «вне» царя нет народа, не мыслится, *не воспринимается сознанием* народ. Правильное отправление национально-государственной жизни выражается в системе символических действий, *в культуре, в церемониале*, малейшее упущение в котором грозит величайшими бедствиями.

Следующая стадия — метафизическая. Новое мировосприятие и новое мышление отвлекают, оценивают разумом, пренебрегают вещной символикой. Соблюдение привычной *формы* волеизъявления уже не является непреложным и единственно-мыслимым свидетельством того, что выраженная воля есть подлинно воля целого. Целое продолжает мыслиться абсолютно единым, и это абсолютное единство продолжает мыслиться *реально сущим*. Но его «подлинная» сущность отвлекается разумом от его эмпирического бывания, от традиционной символики национальной жизни. Общая воля должна быть *усмотрена разумом*. Республика, управляемая «философами» — таков *идеал*, к которому тяготеет общество, переживающее метафизическую стадию развития Духа.

Стадия позитивизма (вернее, критического монизма) характеризуется освобождением от докритического разграничения «субстанции» и «акциденций», сущего и эмпирически данного, «бывающего». Общая воля не «есть», она непрерывно «становится», и она существует не «вне» и не «над» отдельными волями, а в них и *только* в них. Демократия, основанная на *состязании* воль и мнений, на *дискуссии*, — такова форма, являющаяся *единственно возможной* на этой стадии.

Отмечу сразу же различные оттенки отношения между формой общественно-государственного быта, свойственной каждой стадии развития культуры, и этой стадией. В стадию докритического монизма («поэтическую») государство нацело *совпадает* со своим идеальным образом. В стадию метафизическую (дуалистическую) реальное государство *тяготеет* к своему идеальному (умопостигаемому) образу (в пределе это, конечно, демократия, в которой все граждане — «философы»). В стадии критического монизма государство *не может* быть ничем иным, как демократией. Демократия есть «*matter of fact*»¹ и вечный неизбывный *компромисс* между индивидуальными волениями, столь же «реальными», как и вечно рождающаяся и вечно умирающая в процессе их борьбы «общая» воля.

В обществе небольшом по занимаемой им площади, по числу его сочленов, простом по общественной структуре, смена стадий культуры совершается более или менее равномерно и одновременно во всех слоях. Поэтому *здесь* революции, в таких обществах

(античные республики, средневековые общины), происходящие иногда весьма часто, к *эволюции*, в строго-научном смысле этого слова, никакого отношения просто-напросто не имеют. У «тучных» и у «тощих», у «худородных» и у «помнящих отца», у «старших» цехов и у «младших» — *одно* мирозерцание, один и тот же идеал. Смена социальных классов у власти так же не сопровождается никаким психологическим «сдвигом», как смена одного мексиканского президента или одного китайского генерала другим. В *этом* отношении подобные революции ничем не отличаются от «дворцовых» революций (*révolution de palais*), как в XVIII веке именовались династические перевороты в деспотиях.

Иное дело — большие национальные государства нового мира. Здесь различия между селом и городом, между образованными классами и народом, — не в степени только, не в уровне, но и в *стадиях* развития. Расхождение между отдельными слоями может быть здесь в этом отношении весьма значительным. «Общество» может уже давно находиться в позитивистической стадии развития, тогда как народ, живущий сельским бытом, еще не изжил «поэтического» мирозерцания. Здесь смена у власти социальных слоев (а в этом ведь и состоит революция) может сопровождаться, уже в силу одного этого, глубочайшими психологическими «сдвигами», и поэтому роль революции в процессе *эволюции нации* как сложного культурного целого представляет собою проблему первостепенной важности и чрезвычайной трудности.

Намечу главные пункты этой проблемы.

Все великие национальные государства нашего культурного мира пережили революции. Англия — в 1641–49 годах (вторая — «достолавная» Революция была лишь окончательным подведением политических итогов «великого мятежа» середины XVII в. и не затронула *сама по себе* сколько-нибудь глубоко народной жизни), Франция — в 1789 и след. годах (революции XIX в. справедливо считаются французами «исходом» Великой революции), Россия в 1905 и 1917 гг. (причем и революцию 17 года можно считать прямым продолжением только загнанной внутрь, но не изжитой революции 1905 г.), Германия в 1918 г., Италия — в 1922 г. Кроме фашистской итальянской революции, все остальные были направлены против *традиционной*, первобытной, хотя и значительно видоизменившейся — в каждом государстве по иному — власти. То, что именно *эта* власть в национальном государстве становится объектом революционного насилия, что именно с нею, иначе как путем революции, справиться бывает невозможно и что вообще в какой-то момент с нею оказывается

необходимым «справиться», — не есть какая-либо случайность. Это коренится во внутренней природе традиционной власти, монархии, царства. Согласно старинной теории, всякая государственная форма «вырождается» и «портится». Формы *сами по себе*, однако, не могут «портиться». «Вырождение» режимов есть не что иное, как результат общего культурного процесса. В условиях все возрастающей рационализации жизни царство постепенно становится анахронизмом. Между тем из всех режимов режим монархии является наименее гибким, наименее способным приспособляться и следовать за жизнью. По самой его природе его культ, его церемониал играют в его функционировании первостепенную роль. Вся обрядовая сторона монархии, для общества рано или поздно утрачивающая всякий смысл, в сознании самого носителя власти, воспитанного в специфической атмосфере Дворца, продолжает сохранять свое значение не только главного элемента государственной жизни, но и непреложного залога неизблемости со всех сторон подточенного и подгнившего строя. Рано или поздно первоначальная целостная нация, связанная с царем общим культом, расслаивается: из народной массы выделяется общество, постепенно выходящее из поэтической стадии. На последней пребывает еще только народ, но народ отделен от царя и его окружения толщей промежуточных классов, и эта разобщенность становится роковой для царства и для царя. Царь обращается в «первого дворянина», и народ перестает узнавать в нем *своего* царя. В конце концов в народе начинает пробиваться смутная идея народного царства — без царя. Когда народ узнал, что нет более государя императора, а есть полковник Николай Романов, он «приял» это, как «приял» и французский народ весть о том, что нет более богоданного Людовика XVI, а есть гражданин Людовик Капет, «бывший тиран». И царь, в критический момент, оказывается неспособным на то, что советовал Людовику Мирабо. Ибо он не знает, *где* народ, что *такое* народ. Последний самодержец, должно быть, вполне серьезно поверил, что русский народ — это те самые охотнорядцы, охранники, немцы с русскими душами и бессарабские помещики, которые поднесли ему — знак Союза русского народа.

Поскольку революция в национальном государстве есть — как общее правило — ликвидация строя, завещанного «поэтической» стадией, весьма важно знать, какую роль она играет в процессе перехода из этой стадии в следующую.

В Англии в Революции участвовали почти исключительно «джентльмены». Народ был представлен «подмастерьями», нанятыми парламентом в армию, и сельскими свободными держателя-

ми, из которых Кромвель составил свою «армию нового образца». Эта армия была весьма немногочисленной. Англия XVII в. еще не изжила окончательно «поэтической» стадии. Величество короля пользовалось громадным обаянием даже у тех, которые с ним сражались, — собственно не с ним, не с самим Величеством, а с «дурными советниками короля». Люди, встречавшиеся с пленным королем, преклоняли пред ним колени и просили его возложить на них руки: возложение рук божьего помазанника считалось средством, помогавшим в болезнях. Только в 1647 году, на 7-м году гражданской войны, Джон Лилберн, в своем «Народном соглашении», развил в обстоятельную политическую программу идею народовластия, коренившуюся в пуританском учении о Церкви как демократической общине верующих. И только после второй, «достопадной», Революции Локк подвел под совершившийся факт идеологическое обоснование в духе политической метафизики. Вытеснение в сознании старых представлений новыми совершилось в результате революционного эксперимента. Отчетливее всего эта смена мирозерцаний сказалась непосредственно вслед за казнью короля, когда на короткое время власть попала в руки сектантов, энтузиастов и идеологов, увлеченных мыслью обратить Англию в «нового Израиля», царство святых. Но они оказались в одиночестве. Джентльмены были им враждебны, народ оставался пассивен. Прочным итогом общих революций явилось господство парламентской олигархии. Метафизическое учение об обществе послужило приличным прикрытием притязания парламента на всемогущество, имеющее пределом единственно законы естества; а различие в особе Величества двух ипостасей, «Короля в Совете» и «Короля в Парламенте» содействовало сохранению традиционной символики и традиционного царского культа, ставших безвредными и только возвышавших в глазах народных масс престиж парламента.

Французская и русская революции были делом интеллигенции, поддержанной народом. Французская интеллигенция вошла в метафизическую стадию значительно раньше 1789 года. К революции она была подготовлена идейно вполне. Ее идеалом была демократическая община, состоящая сплошь из Брутов и Сципионов. И все же вначале она и не думает бесповоротно разрывать с прошлым. В первые недели революции лозунгом является возрождение Франции в единении короля и нации, восстановление исконной «неписанной конституции» Франции, одной из основ которой считается королевская власть милостью Божьей. Лишь постепенно «самопроизвольная анархия», охватившая Францию, о которой говорит Тэн, и ряд недоразумений между Двором и Шта-

тами способствуют укоренению сознания наличности *конфликта* между нацией и традиционной властью. После бегства в Варенн² зарождается республиканская партия. В масонских обществах, в которых объединяется французская интеллигенция, в этих *sociétés de pensée*, как называет революционные организации их последний историк*, желая тем подчеркнуть их отвлеченный, «интеллигентский», характер, берут верх радикальные тенденции. Мистика демократии рождается из революционного эксперимента. В процессе борьбы с властью, абсолютной по милости Божьей, крепнет переживание идеи народа, как суверена. Для осуществления идеи народного верховенства пускается в ход насилие — над самим народом, моральное насилие «общего» мнения и физическое насилие.

Русская революция 17-го года, возобновившая неудавшийся опыт 1905 г., начала сразу с провозглашения идеи народовластия. Не подлежит сомнению, что народ с самого начала был с революционерами, не с теми, которые революции противопоставляли «эволюцию». Но сказать *только* это** еще недостаточно. Остается вопрос, с *какими* революционерами. Были революционеры, кричавшие «долой кадетов», «ни одного голоса кадетам», но с отвращением относившиеся к идее физического насилия и возглавлявшие расчеты на «разум и совесть русского народа». Другие революционеры начали с того, что убили Шингарева и Кокошкина и пошли по пути открытого насилия над тем самым народом, ради освобождения которого они участвовали в революции. И народ, после недолгого колебания, примкнул к *этим* революционерам. В их власти, власти абсолютной, не признающей оспаривания, народ увидел *настоящую* власть. Метафизическая концепция абсолютной, абсолютно-единой «общей воли» народу, не изжившему еще навыков «поэтического» мирозерцания, все же ближе, нежели идея народовластия, основанного на начале дискуссии. Там, где демократия парламентского типа существует только по имени, как это было в Италии, полуграмотной, нищей, до сих пор еще, в сущности, не жившей общенациональной жизнью, там метафизическая концепция нации может восторжествовать над, казалось бы, уже усвоенной позитивистической, — пример чему мы видим в той же Италии. Фашистский переворот был здесь *народным* движением, направленным против уже *существующей* демократии, — своего рода «обратной эволюцией», однако не «реакцией» в общепринятом значении слова, т. е. не восстановлением

* Augustin Cochin, *Les Sociétés de Pensée et la Démocratie*, 1921.

** См. «Совр. зап.» XXXVIII, возражения М. В. Вишняка В. А. Маклакову³.

изжитых форм государственного и общественного быта. В фашизме как нельзя лучше выявляется природа метафизического понимания государства и нации. Если в революцию народ мобилизуется против *власти* руководящими общественными слоями, причем в процессе развития революции насилие пускается в ход против самого народа, то фашизм мобилизует народ не против конструировавшейся власти, а против тех элементов общества, которые *могут* стать властью. Фашизм исходит из факта существования борющихся за власть *партий*, и он кладет конец режиму партий; но не тем, что он упраздняет партии вообще, а тем, что он признает право на существование за *одной только* партией — своей собственной. Метафизическая политика основана на отрицании партий: общая воля, согласно Руссо, обнаруживается тогда, когда каждый член суверена действует и голосует, прислушиваясь единственно к голосу собственной совести, не поддаваясь никаким партийным воздействиям. И в то же время Руссо утверждает, что «общая воля» это не то же самое, что «воля всех и каждого». В той стадии культуры, когда нация, ее «воля», ее идеал, ее культура мыслятся как нечто раз навсегда данное, не подлежащее переменам, как «вещи», а не процесс, фашизм есть единственное возможное разрешение руссоистской апории. Те, которые *знают*, какова *должна* быть «истинная» воля итальянского народа, те, которые возвысились до понимания итальянской «национальной идеи», — только те суть истинные итальянцы. Их воля есть воля Италии. Суверен «пребывает» в них. Фашизм есть, так сказать, стабилизированная и узаконенная революция, принцип *насилия* (в этом отличие фашистского режима от большевистского, который во всем остальном *формально* с ним вполне сходен) положен фашистами в *основу конституции*, возводящей господство части над целым, части, приравняваемой к целому, поскольку она представляет собою «умопостижимое» целое, — на степень правовой нормы.

Английская революция была восстанием одной ипостаси *суверена*, воплощавшего в себе нацию, против другой. Вне коллектива, входившего в состав правящего слоя, в Англии не было активных общественных элементов. Французская и русская революции были подняты домогавшимся власти *обществом*, привлечшим на свою сторону *народ*. Итальянская — делом оппозиционной политической *партии*, организовавшей народ и создавшей из него *партию*. В Германии индустриализм, урбанизм, долголетняя практика всеобщего избирательного права, организующая деятельность социал-демократической партии, привели к тому, что *народа*, в том смысле, в каком мы говорим о французском народе в 1789 г. и о русском в 1905–1917, уже в 1918 г., можно сказать,

не существовало. Не было в Германии и *общества*, в смысле организованного и сознательного целого, *противостоящего власти*. Весь германский народ уже представлял из себя политический «корпус», расчлененный на партии. Кайзер уже не был общенациональным вождем. Для немецкой социал-демократии он был лишь главою правящего класса. Значительная часть немецкого народа до осени 1918 г. еще «верила» в Кайзера. Но это уже не был религиозный культ. Немцы верили в его государственную мудрость, его сознание ответственности, его преданность Отечеству. Разочарование в Кайзере было, вероятно, тяжелой душевной драмой для очень и очень многих немцев, но падение Кайзера не было тем революционным экспериментом, который обуславливает собою некоторый психологический «сдвиг», переход в «инобытие», в новую стадию культурного развития. Германия, пережившая сознанием все революции, потрясавшие Европу, отчасти и сама вовлекавшаяся в них, в начале XX века уже находилась в последней стадии развития нации. Германская революция была насильем *оппозиционных партий* над *правящими* партиями. Но после того как цель, ради которой было пущено в ход насилие, была достигнута, в Германии не было сделано ни одной сколько-нибудь серьезной попытки стабилизировать революционный режим — как это было в Италии и в России; ибо в Германии для этого не было психологической почвы. Результатом революции было введение парламентаризма в его чистом виде. Всякая революция — как и вообще всякое историческое событие — есть случайность; ибо столкновения великих исторических сил никогда не являются результатом абсолютно имманентного развития: во всякой комбинации сил мы различаем силы «внутренние» и «внешние». Но германская революция была в неизмеримо большей степени вызвана действием «внешних» по отношению к национальному развитию сил, нежели какая-либо иная. Германская революция была в большей степени «случайностью», нежели английская, французская и даже русская. Выдающийся немецкий социолог Ледерер* определяет революцию как сочетание внутренне-противоречивых начал *идеи и насилия*. Революция есть опыт осуществления идеи *через насилие*. Насилие в революцию пускается в ход именно носителями *новой идеи*, революционерами. Для германской революции характерно как раз то, что насилие было употреблено во время ее в гораздо большей степени *против* революционеров, нежели против сил, революции (новой идее) противодействовавших. Во всяком случае, Шейдеман и Носке пе-

* Emil Lederer, Einige Gedanken zur Soziologie der Revolutionen, 1918.

рестали быть революционерами непосредственно после отречения Вильгельма. Если принять определение Ледерера, то придется признать, что в Германии революции — не было. Формула Ледерера имеет значение эмпирического обобщения. Она верна для большей части великих национальных революций, поскольку те из них, которые происходили с известной закономерностью (в отличие от «случайной» германской), были, действительно, столкновениями несогласуемых — ибо относящихся к различным стадиям развития Духа — мирозерцаний и идеалов, и притом именно таких, которые по самому своему свойству не терпят взаимных компромиссов. Революция — подчеркиваю снова, что речь идет о *национальной* революции, революции как переходе нации из одной формы бытия в другую — есть не только цепь известных специфического характера «событий»: революция есть особый *режим*. Этот режим свойствен *одной* определенной стадии национального развития — метафизической. Определение Ледерера, таким образом, должно быть вместе и ограничено, и расширено. Не всегда наиболее характерной чертой революции является насилие *ради идеи* — и эта последняя черта присуща не только революционным, в общепринятом значении этого слова, режимам.

Критики современной демократии нередко указывают, что режим демократии по существу мало чем разнится от революционного: и там и тут правит *меньшинство*. Большинство и в демократии не имеет *собственной* воли; и тут его воля подвергается насилию. Но только тут это насилие скрытое — насилие так называемого «общественного мнения». В революцию меньшинство «воздействует» на большинство гильотиной, «стенкой» и т. п. В демократии — внушением, подчас комбинированным с простым обманом. При этом, однако, упускается из виду одно, существеннейшее, различие: в демократии власть как-никак *ответственна*. Бриан недавно напомнил тем, кто в Палате вопил против ратификации соглашения с Америкой о французском долге, ссылаясь на враждебное соглашению «общественное мнение», что им придется считаться с тем общественным мнением, которое даст себя знать тогда, когда обнаружатся практические последствия отказа от ратификации. Эта боязнь ответственности определяет собою поведение партий в демократии. Партия носителей *идеи* предпочитает пребывать в *оппозиции*, предоставляя власть «оппортунистам»; или же, если она принимает власть, то на время управления от идеи отказывается, кладет ее под сукно.

Для каждой стадии эволюции нации характерна одна определенная политическая форма. Сущность каждой формы определяется присущим ей одной отношением к идее, всегда *трагичным*,

в каждой стадии на особый лад. В царстве идея осуществляется в системе символов и в конце концов костенеет в обесмысленной обрядности, впадает в состояние склероза. В режиме революции — открытой или «стабилизованной» (фашизм) — идея осуществляется путем *насилия*, т. е. переходит в свое собственное отрицание. В демократии идея приспособляется к обстоятельствам, умалется, тускнеет, или, будучи постоянно «откладываема», в конце концов забывается, перестает быть движущей силой. Невозможность реализоваться всецело есть свойство, присущее идее как таковой. Нация есть культура, т. е. идея, т. е. вечное творческое становление — и ни в каком политическом оформлении она не может осуществиться вполне и раз навсегда.

